

*Валерий Пискунов*

## Опыт Евангелия

*Метанойя*

*Яко мыслю чудовной прозрети*

\* \* \*

Приступая к диалогу со своей памятью, я заметил, что в моем сознании действует некое нравственное предупреждение: не навреди любопытствующей мыслью содержанию воспоминания. Осторожность явно благоприобретенная и сродни правилу классической механики: наблюдая опыт проникновения в законы Вселенной, исключи искажающий эгоизм наблюдателя. Я признаю это правило для любой мысли в любой области познания. Но почему? Вот я окунаю пытливый взгляд в самую глубину моей памяти, почти к началу появления на свет. Глубина осознания ничем не противоречит глубине проникновения. Но могу ли я быть объективным наблюдателем над своей памятью? Я весь в ней, я не могу выйти за ее границу, как не могу выйти за границу своей жизни. Однако сознание ускользает из-под кромки памяти, и я гляжу на воспоминание так, как будто никогда и ничем не был с ним связан.

Чтобы показать сложность этих парадоксов, приведу пример одного из диалогов со своей памятью.

\* \* \*

Младенцу около двух лет, он умирает от кори. Родители беспомощно наблюдают за тем, как он синее и потягивается. Батюшка, окуривая кроватку ладанным дымком, отчитывает младенца. Потом все выходят. В комнате полумрак, окна занавешены. Так запомнили родители, а вот как это событие продолжилось и уложилось в ячейке моей памяти.

Скользкая волна хвори схлынула, и взгляд всей полнотой открывается в полутемную комнату. Взгляд осмысленный: полутемная комната мгновенно узнаваема, а чтобы узнать занавешенное окно с дырочками света, требуется легкий переток зрения. И полумрак, и звездочки света осязаемы для зрения. Осязаем полумрак, осязаем свет в дырочках занавески, осязаемо красное смещение в дырочках

---

*Пискунов Валерий Михайлович* родился в 1949 году. Автор четырех книг. Рассказы, повести и романы публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов». Живет в Ростове-на-Дону.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 6.

занавески. Перемешиваясь с этим зрительным ощущением, входит запах (ладана) и всеохватное чувство облегчения — свободы... Мне бы хотелось все это переписать каким-то иным языком, бесчувственным к земной, притяжательной геометрии. Потому что младенец (этот образ надо ретушировать) очнулся сразу всей полнотой чувств, еще не разделенных... Опять искажение. Я очнулся всей полнотой своего существа. Очнулся всевидящим и всеосязующим *оком*. Око видит пространство, око чувствует полумрак, око чует запах, око осязает свет в дырочках занавески. Это внутреннее ангелоподобное (как бы) духотворение лишает привычной содержательности все чувства младенца.

Младенец соскакивает с кровати и бежит из комнаты на полусвет приоткрытой двери. Ноги заплетаются и он падает.

А теперь самое существенное. Младенец помнит и видит, как соскакивает с кровати, движимый толчком радостного освобождения, ощущает мимолетное прикосновение к полу, то же ощущение пока бежит, и вот — узелок в ногах, потеря ведущего сознания, мгновенное обретение *иного* сознания и воспарение над самим собой. (Маме скажу: «Я стал большой, как жук!») Младенец воспарил, и на этом сюжет ячейки заканчивается.

Я могу многожды входить в ячейку и наблюдать, как происходит это странное прекращение одного сознания и вхождение сознания иного. Тут нет ни мгновения их перемены: младенец падает и взлетает. И теперь он видит всю комнату уже тем самым чувствующим оком, которое описал. Но это око не только обозревает, не только переводит чувственное во внечувственное, оно обладает таинственной способностью соединять сознание внешнее (мое нынешнее) и сознание внутреннее, обозревающее ячейку события, без какого-либо намека на их несовпадение. Младенец парит в полутемной комнате, внечувственно видит россыпь света в дырочках занавеси, углы потолочные, их переход в углы стен и пола. Он наполнен неким полным удовольствием от того, *что* видит и видит по-особенному, не подчиняясь изворотам уже отвлеченной комнатной геометрии.

Теперь он может видеть себя на кровати, не чувствуя себя лежащим, и тем же чувством не плотнее зрения... нет, чувством не плотнее предчувствия зрения, он ощущает и помнит дедушку — как призрак доброты над своим изголовьем. Младенец любит дедушку, но вот здесь, в ячейке памяти, он не может претворить ее в телесно-чувствуемую. Дедушка — некое доброраспевное уплотнение в пространстве ячейки. Его певучий тенор веселит меня подзвучным колокольцем, он рассказывает мне о младенце, рожденном вне причинного порядка и в этой беспричинности обретшем здоровье и славу. Я вне слов и опыта вникаю и понимаю повествование дедушки, поскольку повествование своим внечувственным смыслом предопределено внечувственной атмосферой ячейки воспоминания. Собственно ячейка — это полнота смыслов. Плотность видимого в ячейке равна плотности непосредственно воспринимаемого смысла. И я раньше смысла, по сути понимаю, что младенец, покоящийся на руках Богородицы, уже и саморожден, и самоопределен.

Опять предупреждаю себя, что событие ячейки при соприкосновении со словами отторгает несомый ими смысл. Как связать внезапный и навсегда принятый памятью полет младенца над самим собой с точечками света в занавеси, запахом ладана, добротой дедушки, благодатью, витающей в полутьме ячейки? А естественность полета над самим собой! Ну, не могу я летать над самим собой, но ведь летаю. Между здешним моим сознанием и сознанием взлетевшего над самим собой младенца нет никакой связи. Но и границы нет. Понять природу иного сознания необходимо,

поскольку она вписала в память эту ячейку, вписала так подробно, так надмирно, так совершенно, что ячейка «висит» в памяти и ее пространстве как самоценное, саморожденное, непорочносущее чудо. Вокруг ячейки все может исчезнуть в любую секунду, но она настолько полна существованием, что не подвержена воплощению и смерти.

При-рода при родах.

Трудность языка — трудность осмыслить то, что случилось в ячейке, и связать со мной, с моим логическим, причинно-следственным умиранием. Именно безболезненный, идеальный отрыв от матушки-природы и чудесный, антигравитационный полет над самим собой — именно эта внеземная бессмыслица привлекла внимание памяти. Внутри ячейки нет ни пространства, ни времени; в ней все обратимо, и при обратимости в ней не теряется ни крупницы ее полноты и абсолютной завершенности. И в этой обратимости я подозреваю еще одну чудотворную загадку.

Вот младенец открывает глаза и видит полумрак и комнату. Но в это же не поддающееся измерению мгновение над ним возникает некое внетелесное зрение, некий внутренний око-ем: он сразу видит младенца со стороны, он *знает*, что младенец сейчас спрыгнет с кровати и побежит. Ячейка уже знает весь ход события, она полна этим знанием, она разумна сама в себе. Итак, я точно и ясно для себя усвоил: память, создавая эту ячейку, указала на то, что во мне суть два сознания и что одним я могу управлять, а вот другое — вне меня, надо мной и, пожалуй, включает в себя и меня, и мою способность мыслить.

Перехода от сознания обыденного к сознанию внебытийному я не могу усмотреть, но неотменимый переход есть. Если бы его не было, младенец умер бы в то самое мгновение, когда исполнилась полнота ячейки: она наполнена всеми возможными смыслами, которыми до сего дня пользуется мое обыденное сознание.

Второе рождение наделило младенца «вторым» сознанием, или «второе» сознание наделило младенца вторым рождением? Мне нет надобности учиться смотреть внутренним оком ячейки: взаимопонимание тоньше любой интуиции. Вот пример: воспроизводя событие, я вижу свет в дырочках оконной занавеси. Этот свет всегда один и тот же и вот уже много десятилетий не теряет яркости. Чтобы уловить и остановить этот свет, нужно обладать Божественной мощью предвиденья.

Подтверждаю: быть в сознании натурального, «здешнего» света и обладать способностью предвидеть — невозможно. Чтобы остановить и запечатлеть в памяти *квант света* так, что никакой мой жизненный износ не изменит ни его интенсивности, ни его перемещения, надо обладать несусветным предвиденьем и не менее мощным захватом.

Оборачиваю око ячейки на себя вспоминающего. Знает ли она меня? Мое последующее существование никак не связано с ячейкой: событие свершилось, замкнулось на себе и пребывает в памяти как ничем не обусловленное нематериальное чудо. Ячейка не аксиома. Она иной природы, в которой закономерность никогда не переродится в неопределенность. Полагаю, что ячейка удерживает меня таким, каков я и поныне. Но как же она это делает, не влияя на мою посястороннюю природу? Соприкасаясь с мембраной, соединяющей мое сознание с божественно умудренным сознанием ячейки, я вынужден мыслить. Значит: мыслю, следовательно существую? Нет, не в моем случае. Ячейка мне говорит: мыслить, значит не влиять, как не влияет Творец на сотворенное им чудо.

Но я любопытен. В ячейке нет причинно-последовательных последовательностей, нет временного деления, нет геометрических законосообразностей. Но вот что есть и что отзывается во мне — чувство, несомое младенцем: он освобождено спрыгивает с кровати и бежит радостно, бежит наполняемый желанием увидеть родных, показать им себя здоровым, чувство выздоровления нарастает волной облегчения, освобождения от гнетущей плоти и бег его превращается во вдохновенное блаженство полета... На этом я мог бы успокоиться, но все то же любопытство понуждает взглянуть в *границу* между моим суетным сознанием и сознанием внутри себя мыслящей ячейки.

\* \* \*

На вопрос 9-летнего сына, чем так знаменита его теория, Эйнштейн ответил: «Когда жук ползет по поверхности шара, он не замечает, что пройденный им путь изогнут. Мне же посчастливилось заметить это». Жук подарил Эйнштейну понимание *изгиба*.

Но вот как мой наблюдательный, немного подросший малец развивает мимолетное озарение Эйнштейна.

Навозный жук шагает вниз головой и задними ногами катит свой шарик по поверхности шара земного. Соответственно, земной шар подворачивается под шарик навозный. Малец видит и понимает, что жук явно разумен. Это интуитивное знание слегка пугает мальчика, по голове пробегают мурашки: разум мальчика колеблется над практическим разумом жука, удивляясь его рассудительной точности. Жук думает не о пройденном пути и не о предстоящем, он думает вот об этом неуловимом разумом моменте, в котором два шара — навозный и Земной — движутся относительно друг друга. Жук хочет знать: вкатываю шарик или скатываю? В точке мгновения-изгиба и зависла наука физика.

Точка взаимоигиба движется с максимально доступной нашей Вселенной скоростью, и все, что движется внутри, перевито и связано условностью. Само понятие «движение» чревато синонимом «релятивизм». Малец мыслит одномоментно и шаром земным и шаром навозным, вот как я сейчас осмысливаю мыслящую ячейку, в которой бежит младенец, осмысливая предстоящую встречу с родными, а его второе сознание, сознание второго рождения, осмысливает предстоящие падение и взлет.

Я, как сказкой, заморожен способностью мыслить, осознавать, разуметь и способностью разума, не прибегая к чувственным приборам, определять плотность, качество и роль метафизического сознания. Когда Эйнштейн уловил *изгиб*, перед ним раскинулось *поле*, таинственное понятие, глубоко вошедшее в физическую картину мира и до сих пор не получившее опытного удовлетворения. Прочитирую Эйнштейна: «Теория поля, представляющая, с моей точки зрения, наиболее глубокую концепцию теоретической физики со времени основания последней Ньютоном, зародилась в уме Фарадея». Понятие *поля* превратило Ньютонову вселенную в бесконечно текучую, бесконечно свободную пространственно-временную относительность. Из головы Ньютона родился Фарадей, из головы Фарадея родился жук, осознавший релятивистскую кривизну Вселенной. Жук понял, взвесив аналогию Земного шара в невесомости, что нет тяжести, а есть только масса и движение...

Наделенный опытом ячейки памяти, я могу отличить каждодневное сознание от сознания сновидения или от сознания бреда, сознание миража от сознания логики предикативного многообразия. И мне интересно, какое сознание определяло мышление жука Эйнштейна?

Точка соприкосновения двух шаров (изгибов), движущихся друг относительно друга, превращается в некую квантово-волновую функцию. Хочу понять, соприкосновение сознания моего младенца с сознанием мыслящей его ячейки — той же математической природы?

И здесь четырехмерный релятивный континуум, как ни странно, встречается с услужливой теорией вероятности... Ну и? Позволю себе отвлечься и описать случай, натолкнувший отрока (мне около 11-ти лет) на стихотворение Пушкина. Азартный картежник, поэт изучал труды по теории игры и вероятности (Паскаля, Ферма), и вот как это увлечение отозвалось в стихотворении «ДВИЖЕНИЕ»:

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.  
Другой смолчал и стал пред ним ходить.  
Сильнее бы не мог он возразить;  
Хвалили все ответ замысловатый.  
Но, господа, забавный случай сей  
Другой пример на память мне приводит:  
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,  
Однако ж прав упрямый Галилей.

Отрок увидел стихотворение так, как увидел его поэт, — не в последовательном изложении парадокса, а в синхронном сопряжении изображенных событий. Если бы речь шла только о гелиоцентризме, подвернулись бы имена Коперника, Бруно (поэт!), и Пушкин нашел бы под них изохронный стих и рифму! Но выбрал он «упрямого Галилея». Галилей вырвал движение из классической физики и, через Коперника, Бруно, впрыснул в Ньютоновский космос идею относительности. И отрок, вслед за поэтом, задает вопрос: что делает азартная, психомагическая теория вероятности в индифферентной теории относительности? Галилей вводит в картину физического мира идею нравственной, сугубо человеческой правоты. Там, где у Эвклида и Ньютона был инерционный, гравитационный, заряженный абсолютным движением космос, у Галилея появляется *игрок*. Эйнштейн назовет его Наблюдателем.

Игрок-наблюдатель в области отвлеченных идеальных экспериментов. Эйнштейн смотрит на рулетку вращающихся дисков, на вращающиеся сферы; в каждом эксперименте он расставляет наблюдателей, которые играют роль регистраторов в релятивистском поле неопределенности. Эйнштейн задается вопросом: оттолкнувшись от берега Ньютоновой вселенной, как пройти по волнам релятивистского поля? А ведь мы все еще в границах идеального эксперимента, описанного, уверен отрок, стихотворением. Потому что в идеальном эксперименте соревнуется с самим собой познающее самое себя живое *сознание*. А оно, как я уже знаю, неоднородно.

Эйнштейн тоже знает, что сознание экспериментатора неоднородно, поэтому в его эксперименте роли наблюдателей иерархически распределены. Не могу не согласиться с распределением по ролям моих сознаний, каждое из которых осознает свою роль в сфере ячейки моей памяти и меня за ее границей. Вот младенец спрыгивает с кровати, и сознание предстоящей ему судьбы следует за ним, отслеживает каждый его шаг по полу, отсчитывает расстояние от кровати до того мгновения, когда голые ступни младенца теряют опору о пол, теряют чувство гравитационной заземленности, и вот уже другое сознание подхватывает младенца и возносит его в сферу невесомой памяти. И все это я, как Эйнштейн, могу наблюдать со стороны.

Бог изощрен, но не злонамерен. Допустим.

Однако как же пройти по водам, аки по суку?

\* \* \*

Читающий и внимающий уже понял, что здесь я оказался в точке бифуркации, то есть подвергся неопределенности. Мне бы хотелось свести вместе и рассмотреть два события: чудо, сотворенное Христом над Геннисаретским озером, и релятивистское «озеро», по которому пытаются пролагать метафизические «тропы» физики-неореалисты. Придать одновременность этим событиям я не могу, потому что весь подчинен классической матрице, но у меня есть граница, отделяющая классику от модерна, то есть *игра*. Как говорится: криво игриво, прямо упрямо. Хочешь испытать себя игрой — прими волевое решение. Кидаю монету.

Итак, повествует апостол релятивизма Эйнштейн: «Это было так, точно из-под ног ушла земля, и нигде не было видно твердой почвы, на которой можно было бы строить. Мне всегда казалось чудом, что этой колеблющейся и полной противоречий основы оказалось достаточно, чтобы позволить Бору — человеку с гениальной интуицией и тонким чутьем — найти главнейшие законы спектральных линий и электронных оболочек атомов. Это кажется мне чудом и теперь. Это — наивысшая музыкальность в области мысли».

Вспоминаю пушкинского Импровизатора из «Египетских ночей»: сколько времени потратил поэт на изобретение этой импровизации? Но, соблазненный нарастающей волной преобразования неопределенности в статистическую вероятность, Пушкин уже не мог отказаться от игры.

Физическая интуиция, как ее понимали Эйнштейн и его скрипка, конгениальна музыкальной интуиции Моцарта. Апостол Бор рассуждал так: спектральные линии и электронные оболочки — струна звучащая; следовательно, струна умолкшая возвращается к самой себе. Звучащий квант оборачивается волной, а замирающая волна оборачивается квантом.

Я уже говорил, что мировоззрение из Божественно данной природы, окунулось в природу статистически нравственную. Спор двух апостолов новой физики — Эйнштейна и Бора вокруг квантовой механики — это спор в границах фантастического понятия «реальная метафизика». О сторонниках вероятностно-статистического понимания квантовой механики, Эйнштейн говорил: «Они из нужды делают добродетель.» Надо понимать, что «нужда» — «внешнее оправдание» квантовой механики, но следует ли отсюда «добродетель внутреннего совершенства» самой теории? Бор доказывал «добродетель» правотой логически (и математически) обустроенных парадоксов. Эйнштейн был убежден, что Бог не играет в кости... На самом деле, спор шел о *причинности*, но причинности особенной — не физической, а метафизической. Подкосив классическую аксиому пространства и времени, равную по мощи физической аксиоме всемирного тяготения, физики, потеряв почву, вынуждены были искать новую аксиому единства Вселенной.

Так играет Бог в кости или не играет?

Эйнштейн, жонглируя неким четырехмерным континуумом и синхронизированными часами, пытался оформить берегами разыгравшуюся стихию — единой теорией поля. А вот как очередной апостол Гейзенберг характеризовал эту попытку в статье «Замечания к эйнштейновскому наброску единой теории поля»: поведение масштабов и часов принимается в теории относительности как данное и не выводится из каких-либо общих допущений. Между тем масштабы и часы (!) «построены, вообще

говоря, из многих элементарных частиц, на них сложным образом воздействуют различные силовые поля, и поэтому не понятно, почему именно их поведение должно описываться особенно простым законом». Гейзенберг посадил Эйнштейна на струну наивысшей музыкальности в области квантовой физики.

Апостолы «реальной метафизики» тянулись понять (= опровергнуть) друг друга с тем, чтобы доказать неоспоримую прочность каждый «своей» теории, то есть свою точку зрения узаконить аксиомой. И потекли они *мысью* (белками) по древу познания добра и зла. Потому что причинность — это нравственная правота, которую адепты отстаивают некой лабораторно доказанной аксиомой.

Один бог в кости играет, другой бог не играет.

Евангелические апостолы, искушенные чудесами Христа, потянулись не к Нему, а от Него. Для них Христос был аксиомой. И они понесли аксиому как Божественную истину во вне.

Я уже говорил, что руководствуюсь описанными в ячейке законами памяти. Младенец оттолкнулся от «земли» и всплыл в антигравитационную сферу многоочитого сознания. Кто видит меня со стороны? Кто отслеживает и направляет мой полет над полом, над тенями, над светом? Чьими глазами я вижу себя и по сей день со стороны из любой точки зрения?

Соприкосновение сферы моей памяти со сферой земной невозможно объяснить ни пространственно-временным континуумом, ни прыжками кванта из себя и в себя. Мое появление в мире земном еще можно описать статистической вероятностью, но мое попадание в этот мир выше статистики — это веро-ятие, то есть поятое, взятое верой паки-бытие.

Апостолы Христа знали силу взятой веры, но они не знали, что высказанная мысль, пройдя через отверстие в мембране чужого сознания, сама не знает, чем обернется. Чем тоньше отверстие в мембране чужого сознания, тем невероятнее превращение проскользнувшей мысли. Но за эту экспериментальную выдумку пусть отвечают добронравные апостолы квантовой физики.

\* \* \*

Осталось последнее чудо Христа — чудо Воскресения.

Я пережил воскресение и могу отвлеченно, но с достоверностью памяти, описать тонкости перехода из ничто в нечто. Младенец, открыв глаза, понимает, что ничего не чувствует. Все, что он видит, умо-зрительно. Он не чувствует, но понимает, как переводит взгляд, озирая полутемную комнату. Другая мысль, возникнув ниоткуда, удивляет его уже этой бесчувственностью ко всему видимому. Она ему (или он себе) говорит, говорит без слов, напрямик, интуитивно, что это уже *было*, так почему же он видит это, как будто впервые? Было — но впервые. Вокруг ячейки накручивается замкнутая на себя сфера слоистого парадокса: все видимое уже было, но теперь это будет впервые. Странность в том, что младенец, открыв глаза, сразу мыслит, мыслит всем объемом многозначной сферы. Он не удивляется тому, что видит себя со всех сторон, видит в предстоящей пробежке от кровати к приоткрытой двери. В этой ячейке-сфере он знает *все*, и это знание всего толкает его бежать к двери, чтобы сообщить близким свет понятого.

Что ты понял, младенец? И что тебя, на взлете понятого, так мягко, сопрягая с вневещественной, идеальной природой мысли, оторвало от земли? Неужели ты есть,

пока есть я? Или все наоборот? Сфера-ячейка, в которой парит воскресший младенец, практически «вечна» относительно моей текущей и утекающей жизни. Сфера-ячейка в себе не имеет времени. Время — мой удел. И глядя на воскресшего младенца, я спрашиваю себя и небо: для чего дана ему вечность, если он исчезнет вместе со мной? Он пребывает на Земле, которая взвешена и найдена легкой, вневременной пылинкой. Я же чувствую время как ускоренный гравитационный износ. Умозрительное *знание* смерти правит мной так же, как правит мной закон тяготения. А измышленная пространственно-временная рулетка предлагает мне кинуть, как в первый раз, — на удачу.

Христос знает свою судьбу и предсказывает ее. Перед роковым судом Его снедает тревога, Он мечется в пространстве, из селения в селение, Он увещевает духовную ненадежность учеников и вероотступничество народа. Он считает свои последние дни. Он смертельно тоскует. Не будем забывать, что судьба Христа дается в пересказе внешнего Наблюдателя. И в этом пересказе впервые, как равный о равном, рассказчик описывает *душевные* переживания Христа: Он скорбит и тоскует. Тоска земная, смертельная. Тревога той же земной ипостаси доводит до того, что Он просит Отца избавить от «чаши сей». Затем тревога возрастает до отчаянного, сверхбытийного сомнения: Боже мой! Для чего Ты меня оставил? — Он умирает. Тайна преодоления смерти остается Его тайной.

Как говорится: не столько смертей, сколько скорбей.

Возвращаюсь к драме релятивных физиков. По Ньютону пространство и время абсолютно обусловлены. Таков договор с Богом: он ограничивает и бесконечность пространства, и бесконечность времени. Но вот по Земле пополз жук, и прямизну взяла кривизна, время океаном развело берега. То, что было абсолютной достоверностью, превратилось в пространственно-временной континуум.

Люди до релятивного жука были двумерными. Эйнштейн так иллюстрировал прорыв из Вселенной Ньютона в космос релятивизма: вот луч света падает на киноэкран, и на экране начинают жить своей двухмерной жизнью любознательные двухмерцы; они, путем долгих наблюдений и вычислений, предполагают, что *свет* приходит оттуда, где сидит трехмерный наблюдатель. В свою очередь трехмерный наблюдатель достает из жилетного кармана недремлющий хронометр и уточняет, что до окончания жизни двухмерцев осталось всего ничего минут...

Не могу не пособить себе литературным отступлением. Механические часы разбежались по классическому миру быстро, но я нигде не могу обнаружить тот общедоступный пункт, по которому помещик, сидя безвылазно в деревне, настраивал своей «недремлющий брегет».

Вот в этом пункте — не ты по времени, а время по тебе — совпадает тоска и скорбь Христа с релятивизмом новой физики. Но в отличие от Христа, который с покорностью принимает кончину своего земного времени: впрочем, не как Я хочу, но как Ты, — физики будут предлагать хронометрированному человечеству часы все более утонченной точности.

Напомню: я повествую не о физических свойствах измерительных приборов и не о возможностях математических измышлений; я описываю подлежащие внутреннему опыту и его воспроизводству «вечные» самородки памяти.

Казалось бы: пространство искривилось и превратилось в подсобное хозяйство, время — ходовой товар. Апостолы релятивизма думали и мечтали об этом? И поэтому они экстраполировали свои сомнения, тревогу, тоску и скорбь вовне, передоверив



все эти глубочайшие, соприродные душе переживания, — реликтовой гравитации, реликтовому континууму и реликтовой вероятности? На слух человеческий ворона скорбно поет, а все потому, что так она пела задолго до того, как на земле появились люди.

\* \* \*

В этом последнем пункте возвращаюсь к опыту моего, не поддающегося времени, младенца. Поверив опыт своей памяти опытом Христа, опытом классической физики и физики релятивной, обнаруживаю в памятной ячейке еще не разведанную, не раскрытую затаенность. Когда воскресший младенец спрыгивает с кровати и бежит (он знает, куда бежит, но знает ли, что с ним случится через несколько мгновений?), в его памяти не может не быть опыта *умирания*. Сначала он бежит не к свету, он бежит оттуда, из мрака, которым наполнена вся занавешенная от света комната. Почему же память не открывает мне то, что виделось и мрежилось младенцу в его предсмертном беспомыслии? Он несет в себе эту память, но почему она затаенная?

Он бежит и не знает, упадет или взлетит, а я досаждаю ему своими вопросами. И при этом заведомо, как апостол в пересказе, знаю: то затаенное, откуда он бежит, чудотворно пережил Христос на кресте, — абсолютное одиночество.

\* \* \*

Наташа, моя покойная жена, приснилась мне дней через пять после похорон. Как всегда озабоченная какой-то мыслью, она мимоходом, по-матерински предупредила меня: «Туда тоже надо родиться».